

## «ЕЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПОЭЗИЕЙ»

*Интервью с Александром Руслановичем Шмидтом*

Александр Шмидт – поэт, родился в 1949 году в Семипалатинской области, член Союза писателей СССР, переводчик. В июне 2024 года он прилетел из Берлина в Алматы, чтобы презентовать поэтический журнал «Плавучий мост». Мне удалось встретиться с ним. Мы говорили около двух часов, и вот содержание этого разговора, уже в апреле нынешнего года получившего добро на публикацию.

**– Как Вы начинали свой творческий путь? Что позволило Вам заявить о себе и получить признание?**

– Всё началось в далеком 1967 году. Я вернулся из Томска, где учился на физфаке. Бросил физфак, потому что понял, что меня интересует не физика, а метафизика.

**– Сколько успели отучиться?**

– Ну, пару семестров, наверное. Вернулся к себе, в свою Бородулиху, которая в Семипалатинской области находится – такое районное село. В общем-то, некоторое время пребывал в недоумении – куда идти и в чем состоит мое призвание. Но оно обнаружилось, потому что вдруг ни с того ни с сего я начал какие-то слова записывать.

Всё это некоторое время длилось, и потом, неожиданно, среди всего этого словесного мусора и хлама вдруг начали проявляться какие-то стихи. То, что я тогда написал, лет в восемнадцать-девятнадцать, опубликовали в сборнике «Ступеньки». Он вышел в 1976 году, когда я уже вернулся из армии. Эти стихи я написал в очень молодые годы.

В 1968 году оказался в Алма-Ате и хотел поступать на филфак, но меня запугали родители, сказав: «Ну всё, в армию угодишь так». Поэтому ничего не оставалось, как поступать опять на физфак.

Промаявшись три года на физфаке, я оказался на журфаке. Там я проучился два курса, довольно успешно. После странных обстоятельств меня стали вызывать на допросы в КГБ. Кто-то из приятелей доносил – я был болтливым молодым человеком.

**– Бунтующая молодость?**

– Можно так сказать. Слава Богу, я попал в стройбат, а не за решетку, куда была большая возможность угодить. Но как-то обошлось, и в результате я оказался на Байкале в стройбате – можно сказать, совершенно погибельное место. Но! Начальник штаба, когда просматривал документы всех новоприбывших, посмотрел и говорит: «А что это ты? Ты же в университете учишься, как тут появился?» То есть никто из органов не написал сопроводительную записку.

При штабе дивизии оказалась дивизионная газета. Тут же меня редактор дивизионной газеты, подполковник Самаренко, хороший оказался человек, вызвал к себе: «Ну-ка, напиши мне о своих впечатлениях первых!» Ну, я понял, что это шанс, и тут же ему с утроенным вдохновением всё изложил. Всякий романтический вздор про тоннели! Звезды! Тайгу! И всё прочее. Меня взяли, и я два года прослужил в газете. Писал. Там я совершенно определенно понял, что такое советская журналистика, и никаких иллюзий у меня уже не было. Всё это – воображаемые герои, воображаемые ситуации. Это развило, наверное, мой художественный взгляд на реальность! Нереалистический совершенно.

Отслужил я армию, не стигнул там, вернулся, сдал сессию, перевелся на заочное. С моим обучением тут всё и закончилось. Это был 1975 год, я оказался в Алма-Ате. Тогда познакомился с Надей Черновой – она работала в издательстве «Жалын». Взглянула на мою рукопись, по-видимому, что-то ее задело. Потом появились друзья: Бахыт Каирбеков, Кайрат Бакбергенов, Слава Киктенко, Ерлан Сатыбалдиев, Бахытжан Канапьянов. Они только закончили Литинститут, и с их легкой руки моя рукопись по странной траектории оказалась в «Жазушь» и вышла в серии «Первая книга». Я тогда работал в Семипалатинске на телевидении, потом оказался в Талды-Кургане на радио. У меня уже семейство было – жена и двое детей к тому времени. В 1981 году ребята вытащили меня в Алма-Ату и очень помогли мне. Подвели меня к Калдарбеку Найманбаеву, Царствие ему Небесное, я ему приглянулся, он взял меня в «Жалын», издательство, в котором был директором.

Что значит признание? Для меня признание было не какое-то всенародное. Главное признание я нашел в кругу своих друзей-поэтов. Собственно говоря, когда я оказался среди них, для меня этот круг был уже самым главным признанием, потому что ты оказываешься среди своих, наконец-то. Не в стройбате, не среди других людей, которым никакого дела до поэтического Слова нет... Я был просто счастлив в те годы. Плюс Тамара Михайловна Мадзигон, преподаватель университета, с которой мы познакомились в 1968 году, когда я еще на физфаке учился. Она относилась ко мне очень благосклонно. Написала первую внутреннюю рецензию на мою дебютную книгу, где предсказала всё мое развитие.

Потом – Германия. Берлин – странный город. В районе, где я оказался, жила первая волна русской эмиграции. Вот мемориальная доска на доме, где жила Марина Ивановна Цветаева, здесь жил Ходасевич, здесь – Набоков. Это всё – в моем районе!

**– Историческое место!**

– Да! Этот район, Шарлоттенбург, так и называли – «Шарлоттенград», в нем и сейчас проживает много русскоговорящих людей. Здесь очень хороший русский книжный магазин, есть и другие русские магазины. До недавнего времени было и русское радио. Так что, оказавшись в Берлине, я подумал: «Да, тут можно как-то жить». В своей семье я уехал в Германию последний. Первыми уехали папа с мамой, потом – брат, затем – сестра, всё это семьями. Изначально я и не думал ехать. В конечном счете, несмотря на всякие мытарства, это оказалось правильное решение, мы оказались рядом с родными. Ведь это было время, когда привычный мир рушился... Перестройка и распад большой страны. Нашей общей родины.

В 2006 году умерла моя жена, Нина. У меня осталась внучка – мое самое нежное, любимое существо. И самое мудрое! Папа у нее казах, так что в каком-то смысле частичка моей родины всегда со мной.

Весь этот переезд был трагичным, конечно. Расставание с родиной. Мой друг Шахимарден спрашивал у меня потом: «Что такое эмиграция?» Это репетиция смерти, так, кажется, я ему тогда ответил. Ты попадаешь в реальность, где ты никто и звать тебя – никак. Сначала, когда туда приезжаешь (прим. – в Германию), оказываешься в пересыльном лагере для оформления документов. На собеседовании местный чиновник. Пытаюсь с ним по-немецки говорить, а он – давайте по-русски поговорим. Пспрашивал про то, про се. «А чем Вы будете заниматься?» Говорю: «Тем же, чем и занимался – буду писать стихи». Он расхохотался... Более нелепого занятия для немца трудно придумать. Но так и оказалось. Правда, еще перевел пару немецких авторов, довольно известных. Я был одним из переводчиков последнего великого немецкого поэта – Готфрида Бенна, он умер где-то в 50-е (прим. – в 1956 году). Потом переводил Эриха Фрида<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Эрих Фрид – австро-британский писатель, поэт, журналист и радиоведущий, 1921–1988 гг.

Первое время было полное, абсолютное одиночество, будто я оказался на Луне. Зашел один раз в русский магазин, смотрю, читаю книжку. Вдруг из-за стеллажа мне некто говорит: «Поэт Александр Шмидт?» Это было настолько невероятно... примерно так, как если бы меня какой-то инопланетянин окликнул! Я познакомился с этим «братом по разуму», он оказался тоже поэтом и меня узнал. Оказывается, выходило несколько больших антологий в России, где я присутствовал, они появились и в Германии, и он меня узнал по фотографии. Вообще в Берлине оказалось довольно много писателей, поэтов, пишущих на русском языке. Здесь даже существует пара литературных обществ. Мы с Аленой, моей женой, довольно долго посещали один литературный салон. Салон Анны и Вадима Фадиных. Всё это на очень серьезном уровне, потому что люди там искусственные, очень искусственные. Среди гостей этого салона встречались и довольно известные персонажи современного литературного процесса. Ну, например, главный русский постмодернист Владимир Сорокин. Живет неподалеку, мы даже с ним в настольный теннис поиграли. Очень самолюбивый человек. Проиграл, и больше мы с ним не виделись.

Для меня совершенно не имеет значения, пишу ли я конвенциональным стихом или так называемым верлибром. Тут, как говорил Олжас (прим. – Сулейменов): «Стих может быть и не верлибром – поэзия была б свободна!» Это для меня важнее всего. И всё-таки, как у Пастернака: «И здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба». Почва и судьба для меня очень важны, очень, потому что с моей биографией человека, родившегося после войны в 1949 году, в русско-немецкой семье, с ощущением «трещины мира» – у меня даже стихотворение есть об этом, – которая через меня проходила – это для меня абсолютно важно. Это болит. Помню, как папа водил нас в районную баню, а там мужики после войны. Они были настолько искромсанные... И вот трешь ты ему спину, он тебя спрашивает: «Ты чей? Как тебя звать?» Я ответил, он не расслышал и переспросил: «Шмель?» Тут я малодушно кивнул, мол, ладно, буду Шмелем. Выговорить свою, папину фамилию я не решился... Несмотря на то, что мама моя, Атрохова Мария Семеновна, безусловно, русская, бабушка, Гарькавая Степанида Антоновна – украинка Сумской губернии, дед мой, Атрохов Семен Михайлович – Георгиевский кавалер. С немцами воевал в 14-15 годах и, скорее всего, был белорусом, потому что это переселенцы до 1908 года в Казахстан. Я стал смотреть, где чаще встречается фамилия Атрохов, и понял, что это или Беларусь, или юг России. А мои родственники немцы – поволжские, которые двести лет прожили на Волге, и, если бы не эта война чудовищная, они бы так и остались жить там. Мой дядя по папе, единственные выжившие после всех бедствий этой страшной войны – папа да он, на ломаном русском языке уже в Германии мне говорил: «Русланд – наша родина?» Я отвечал: «Дядя Витя, ну да, наверное, Русланд наша родина». Потому что действительно, сложно даже вообразить: двести лет этот странный народ, российские немцы, жили в России. Они, немцы, кстати говоря, основали в России, кроме Академии наук, флот, состоявший во многом из немцев, и даже Лермонтов о своем приятеле писал: «Русский немец белокурый едет на Кавказ»<sup>2</sup>. Ну не на воды же ехал этот молодой русский немец?!

<sup>2</sup> М. Ю. Лермонтов. «М. И. Цейдлеру», 3 марта 1838 г.:

*«Русский немец белокурый  
Едет в дальнюю страну,  
Где косматые гяуры  
Вновь затеяли войну.  
Едет он, томим печалью,  
На могучий пир войны,  
Но иной, не бранной сталью  
Мысли юноши полны».*

А воевать. Я уж не говорю, что прабабушка у Александра Сергеевича Пушкина была немка, а дед, условно, африканец, скорее всего, эфиоп. В Эфиопии даже памятник стоит «нашему всему»...

В стихотворении «Пещера» я не хотел сказать о своей «немецкости» или «русскости», там мысль другая. Поэт – создатель мифа. Туда входит и его судьба, и место, где он родился, и небо, под которым он живет. Это не прямая биография с фамилией, именем, отчеством, датой рождения – всё это преображено в его творчестве. Тут можно вспомнить платоновский миф о пещере, где реальность приходит к нам только в виде теней. Потом миф об Одиссее, который оказался в пещере, где Циклоп спросил его имя, а Одиссей ответил: «Никто». Для меня художественная и поэтическая жизнь и выход в реальную жизнь – это как выход из пещеры нимф. В реальность, где тебе обязательно зададут вопрос: «Ты кто?» Я – поэт. «Нет такого! Ты назови мне свои: фамилию, имя, отчество, гражданство...» Для поэта эти вещи тоже существенны, но каждый раз они возвращают его в грубую реальность. В ту действительность, которая, по Ф. Достоевскому, «всегда отзывается сапогом».

– **То есть не русский, не немец, а просто – поэт?**

– И не русский, и не немец... Человек, хотя и русский, и немец. Как только ты надеваешь оболочку фамилии, она прирастает к тебе, как кожа. Ее не сбросишь без крови. Так или иначе, ты делишь судьбы людей, для которых эта фамилия – не чужая. Хотя и для русских Шмидт не чужая...

– **Вы назвали нынешнее время «новым средневековьем». Почему так?**

– Ну, это не моя мысль. Был такой русский философ – Карсавин. В начале XX века он говорил об этом «новом средневековье». Как он его определял: до IV века существовала Римская империя. Жил, условно, какой-нибудь римский поэт Авсоний на рубеже III–IV веков, жил хорошо, а потом империя рухнула, почти так же неожиданно, как Советский Союз, и всё полетело в тартарары. Культура, которая имела там форму утонченную, александрийский стих и всё прочее – это вообще никого не интересовало, потому что пришли варвары. После IV века уже сложно было встретить человека, который бы читал книги. Признаком аристократизма в раннем средневековье считалось, если человек читает книги. Тогда средневековье характеризовалось фрагментацией всего, культура выживала в монастырях. Например, в романе «Имя розы» Умберто Эко всё крутится вокруг библиотеки, находящейся в монастыре, вся интрига.

У нас, в наши времена и так, и не так. Я имею в виду, что и сейчас художественное слово практически вытеснено, условно говоря, в университеты. Когда я только приехал в Германию, там на телевидении были замечательные литературные программы с обзорами – сейчас их нет совершенно, как будто всё зачищено. На русских каналах, например, на канале «Культура», пытаются как-то читать стихи, но, хоть они и очень стараются, ощущение такое, что это не особо интересное дело. Потому что всё вытеснило что? Экономические дела, а большей частью – политические. Пропаганда и информация, информация, информация. Она же не формы, условно, хокку или поэмы, она имеет свои формы. Этим всё заполнено. И реклама! Хлебников еще в начале XX века писал: «Чтоб слышать напев торгашей, приделана пара ушей». Действительно! После 90-х годов появилась установка воспитывать не какого-то там творца, человека с творческим потенциалом – нужен человек-потребитель.

В результате мы получили то, что получили – например, литературный журнал, имевший миллионные тиражи, сейчас имеет порядка несколько сот экземпляров. «Новый мир» или «Простор», например. Люди припали на некоторое время к «гласности» и тут же оказались у разбитого корыта, и пришлось заниматься не поисками каких-то художественных образов, а поисками возможностей выжить, просто выжить. В 60-е годы в университетской ауди-

тории человек триста-четыреста студентов моих ровесников сидело, и они все приходили слушать стихи. Я читал свои крохотные вещи, а они слушали и отзывались. И реагировали! Мало того, смешное дело: зное количество лет спустя одна из этих любителей поэзии показала мне тетрадку, где она записала какие-то мои первые, далеко не совершенные стихи. Представьте, переписывали в тетрадки не свои стихи, сейчас такое – разве возможно? Конечно, нет, я думаю. Как в греческом мифе, все эти любители поэзии, наверное, превратились в цикад, то есть в кузнечиков, потому что их просто не стало. А скоро и кузнечиков не станет – сожрут...

– **Сейчас, если записывают, это строчки из песен.**

– Да, пожалуй. Поэтому я и говорю: звук потух. Почему? Когда идет выкачка воздуха. Кто-то, кажется, Блок сказал, что Пушкина убило отсутствие воздуха. В 60–70-е годы был поэт Владимир Соколов, тончайший лирик. Он умер от удушья, потому что был астматиком – как некая метафора. Сейчас, если в библиотеках собираются в Москве двадцать человек, то это уже много... Мой друг, замечательный молодой поэт Сергей Тенятников, рассказывал, что в соседнем помещении с ним должен был выступать один из основателей русского верлибра, поэт Куприянов – никто не пришел! Вот и всё.

– **Поэзия пытается подстроиться. Лично я наблюдала много видео в интернете, где человек под музыку, с выражением читает стихи.**

– Это как представить себе, что Тютчев, например, читал бы под музыку свои стихи. Трудно вообразить... Просто попытка собрать аудиторию. Дед мой, Атрохов, умел останавливать кровь, заговаривал ее. Думаю – вот, ход! Передал бы он мне свое такое умение, вышел бы я к аудитории, чиркнул по руке – кровь потекла! Заговорил – остановилась, вот тебе фокус-покус. Это всё старая песня. Поэт и государство! Поэт и фининспектор, как у Маяковского... Государству поэт не нужен... Куда его вставишь? В какую структуру? Государь и сами горазды, если что, гимн сочинить... Давным-давно Бодлер говорил: «Если я потребую у государства буржуа для своей конюшни, все только покачают головой, но если буржуа потребует у государства жареного поэта – ему его подадут». Это говорит об отношении. Там уже давно такое отношение, на самом деле. У нас, в связи с обществом потребления, которое здесь всё еще не прекратили строить, происходит то же самое. Поэту надо теперь, помимо всего прочего, показывать какой-то фокус или появляться в странном виде, чтобы на него обратили внимание. Но это, кстати говоря, еще ходы футуристов: Маяковский с морковкой, Вертинский в виде Пьеро. Сейчас пытаются воздвигнуть что-то новое, но всё это обречено – никто не будет ни читать, ни слушать. Человеку надо вернуться к своим основам: жизнь, смерть, любовь, отношения с Небом, с Богом. К основополагающим вещам, которые и делают человека человеком. Тогда, может быть, какой-то интерес вернется. Потому что появление и исчезновение интереса волнообразно – в шестидесятых был пик, потом – спад.

– **А почему ее звук потух после шестидесятых? Тогда ведь до развала Советского Союза оставалось еще тридцать лет.**

– Он потух не сразу, но очень сильно изменилось непосредственное восприятие поэзии, которое было в 60–70-е годы. Одним словом – что-то случилось. Может быть, потому что людей стала больше интересовать не духовная составляющая жизни, а материальная. Всё ведь зависит от качества людей, приходящих на встречу с поэзией. Если приходят чуткие люди, то и акустика чуткая. Наверное, люди изменились к тому времени. Скорее всего. Не зря же всё так поменялось и в восьмидесятых, и в девяностых годах, и произошел резкий отказ от всего. Даже аудитория кино – люди, которые собирались, ждали премьеры Тарковского – сейчас это вообще сложно вообразить. Сейчас в

кинотеатре прежде всего – ведро попкорна. Поэзия – это то, что ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, как сказал Гумилев. Ее с попкорном невозможно есть. Поэтому пытаются молодые ребята читать под музыку, хотя что значит Слово в музыкальном сопровождении? Ну, романс. Но чтобы поэтический текст «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился» под музыку... Александр Сергеевич, конечно, не стал бы читать это даже под орган.

Может быть, это форма выживания на нынешний момент. Значит, кого-то это задевает. В конце концов, в рок-группах, появившихся в 70–80-е, вроде «Кино», «Наутилус Помпилиус», текст много значил. Это была уже не попса. Часто это по-настоящему поэтические тексты. Может, так поэзия трансформируется. Я думаю, поэзия должна, – хотя поэзия ничего не должна, – если выживет, стремиться к форме гомеопатической, как хокку. Что-то мгновенное. Даже проза! Мне, например, интереснее почитать дневник Чехова, чем современную толстую книгу, потому что мне уже и сюжет не очень интересен. Ну что там? Фабула, сюжет приобрели какие-то буржуазные, торговые формы. Детектив должен захватить, развлечь читателя, тогда больше съедят, больше купят, а по-настоящему серьезная литература, даже если и существует у очень больших писателей, растет не в объеме, а в смысловом наполнении.

**– Что вообще есть серьезная литература?**

– Это литература, которая отвечает на самые главные вопросы. Я, например, перед поездкой сюда в который раз перечитал «Книгу прощания» Олеси. На мой взгляд, она интересна современной формой. Хотя Юрий Карлович там всякий раз извиняется, что это не художественно, на самом деле книга художественная абсолютно и композиционно напоминает новейшие музыкальные и кинематографические формы. Кванты текста монтируются, как в кино у Эйзенштейна, по очень странным, поэтическим законам. Возможно, современные проза и поэзия начинают в какой-то степени друг друга дополнять. А то, что продать, какие-то детективные истории, совершенно не имеет отношения к художественному – литература попкорна. Что она, потрясет душу чем-то? Да нет, она и не предназначена для этого.

Поэт вообще всегда сочетал много профессий в себе. Как в древности – он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Взять Вавилон или Древний Египет – это были жреческие, заклинательные функции, даже врачующие. Как у Баратынского: «Болящий дух врачует песнопенье» – это как раз воспоминание о той древней функции поэта. Поэзия как таковая возникла в жреческих ритуалах. Даже когда читаешь Ветхий Завет или Книгу Пророков, понимаешь, что это гениальные поэтические тексты. Это не информационная вещь, не политическое воззвание – нет, это нечто заклинательное. Там настолько высокая поэзия, что ее отголоски, приходя из глубин, встречаются у Пушкина, у Тютчева, если говорить о русской поэзии. Поэзия – неизменна, как Логос, как Бог. Поэт или подсоединяется к этому, или занимается бумагомаранием. Если ты не получаешь чего-то свыше, как ты можешь себя называть поэтом? Тогда ты просто журналист. У одного довольно известного литератора в Берлине спросили: «А Вы слышите голоса?» Тот ответил: «Если бы я слышал голоса, меня бы посадили в определенное учреждение». Но ведь если он голосов никогда не слышал, то какое отношение имеет к поэзии? Мало кто скажет об этом, но это действительно так.

Русская песня – совершенно другая вещь. Вот уж где намывалось годами и даже столетиями абсолютное Слово. Устная и записанная поэзия соприкасаются. Фольклор оказывал влияние и на Пушкина. На мой взгляд, одна из самых его поэтических строчек – это «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?» из «Сказки о царе Салтане». Совершенная поэзия! С Александром Сергеевичем и заграница – не заграница. Как Ходасевич, который с родины привез восьмитомники Пушкина. С ним мы никогда не одиноки, не покинуты и не на чужбине. Великий генетик Петр I создал Пушкина! В колбочках алхимически смешал гены немцев, эфиопов, русских, и вдруг – такая гармония!

– **Вы говорили, что изначально, помимо прочих, восхищались Маяковским. У Вас есть его любимые строчки?**

– Да, конечно! Вот, о поэзии – лучше него мало кто сказал: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Или: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?» Совершенно потрясающие стихотворения. О любви – «Облако в штанах». Масса подобных стихов! Он – поэт великой силы. «От этих слов срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек». Мощи не меньше, чем у Державина. Державин, кстати говоря, грандиозный поэт. Взять его оду «Бог». Или:

*«Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Через звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы».*

Говорят, что это обломок от оды. Из этого стихотворения вышел весь Тютчев.

– **А что насчет современной русской поэзии?**

– Современная русская поэзия в замечательном состоянии – есть масса поэтов очень большого масштаба. Я как-то писал в «Просторе» о семипалатинском поэте Анатолии Гринвальде. В московском обзоре его сравнили с Рыжым и еще несколькими самыми талантливыми поэтами. На мой взгляд, это поэт с совершенно гениальными проблесками. Мы так устроены, что не любим говорить что-нибудь подобное своим живым современникам. Как правило, поэты – народ, не особо любящий своих современников. Доброго слова не дожدهшься!

– **Может, чтобы это немного исправить, Вы захотите что-нибудь пожелать или посоветовать совсем еще молодым поэтам, которые только начинают свой путь?**

– Это неблагодарное и неприбыльное дело – писание стихов, как там у Пастернака: «О, знал бы я, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью – убивают, / Нахлынут горлом и убьют!» Это небезопасное дело. Сказать, что это дело принесет им удачу или радость – тоже не могу. Это дело одинокое, во многом безнадежное и горькое, потому что сколько было до тебя? Загляни вглубь тысячелетий. А что осталось? От кого-то всего три строчки, но осталось. Или Гомер. Если у тебя амбиции Гомера – берись за это дело! У человека должны быть амбиции, конечно, серьезные. Кроме всего прочего, человек должен быть по-настоящему образован. Он должен понимать, что в материальном плане это ему ничего не принесет. И человек должен почувствовать то, что я называю «призвание». Позовут его «оттуда» – и хочет он или не хочет, вынужден будет жить и творить.

– **Как говорится, если можешь не писать – не пиши.**

– Да, конечно. Любая другая профессия и материальных благ больше принесет, и меньше бед семье. Когда я встречаюсь с молодыми поэтами, я зачитываю им это стихотворение американского «Великого неизвестного поэта» Робинзона Джефферса, как его называют на родине – «Жаждут похвал»:

«Гете, говорят, был великим поэтом,  
 Пиндар, быть может, был великим поэтом,  
 Шекспир и Софокл – вне всякого сомнения.  
 Я думаю о немногих, счастливых,  
 Которые успели раскрыться.  
 Я думаю о Кристофере Марло,  
 Как в пьяной сваре  
 Солдат проткнул ему глаз ножом  
 И юность вместе с мозгами  
 Выплеснулась на трактирные доски.  
 Я думаю о молодом Китсе,  
 Как он сходил с ума  
 От невоплощенных замыслов,  
 Как, умирая в Риме,  
 Моллил о глотке воздуха.  
 Я думаю об Эдгаре По

И Роберте Бёрнсе,  
 Я думаю о Лукреции,  
 Как, не закончив стихотворение,  
 Он пошел и покончил с собой.  
 Я думаю об Архилохе,  
 Как он усмеялся с безумной горечью.  
 Я думаю о Вергилии,  
 Как, выхаркивая свои легкие,  
 Он в отчаянии умолял друзей  
 Уничтожить его стихи.  
 И всё-таки, молодые люди  
 До сих пор приходят ко мне  
 с рукописями и книгами,  
 Как жаждут они быть поэтами,  
 Жаждут похвал,  
 Жаждут кончить как Китс.  
 Я думаю, что они сумасшедшие».

Мы все жаждем похвал. Вот приходишь, написал, съешь кому-нибудь – конечно, жаждешь похвал! Ко мне, например, Тамара Михайловна (прим. – Мадзигон) сначала отнеслась довольно скептически, потому что это было, ну, просто плохо. Потом я ей начал таскать еще и еще, и она сказала: «Саш, ну ты уже главное сделал – ты хороший-хороший читатель!» Я был в полном отчаянии, потом написал маленькое стихотворение «Жар-птица». Прочитал ей – говорит: «Это замечательно ты написал!» Падения сменяются почти счастьем, и это продолжается до сих пор, иначе бы я забросил это гиблое дело давным-давно. Всё еще вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего что-то приходит. Вот, например, «На птичьих правах»:

*«На птичьих правах разместились на ветке  
 Все те, кому тесны квартирные клетки.  
 Кому это небо, надежнее крыши?  
 Кому эти песни дарованы свыше?  
 И мне бы забыть человеческий свой страх  
 И здесь прописаться на птичьих правах.  
 Синичка, и горлинка, и воробей  
 Зовут меня в небо: «Входи, не робей!»*

– У Вас ведь есть еще одно стихотворение «На птичьих правах»<sup>3</sup>?

– Да, но только не рифмованное и совершенно с другим смыслом. То есть что такое форма, что такое стилистика? Всё это – ерунда. Иной раз, бывает, стих как песня к тебе приходит, в другой раз он – как некое откровение, где не надо никаких рифм. Бывают трагические вещи, которые ты записываешь, но их кощунственно вводить в какую-то привычную стихотворную форму. Да, это может быть безупречно по форме – ямб, хорей, женская, мужская рифма, но надо произносить слова, связанные с судьбой, смертью, жизнью. Тут содержание диктует форму. Иной раз как песня, иной раз – как Слово без сопровождения музыки.

<sup>3</sup> «Чужая речь,  
 конечно же, раздражает.  
 Но, в конце концов, и птицы  
 крикают на непонятном языке.  
 Здешние жители

на тебя уже не обращают  
 никакого внимания,  
 словно  
 и ты здесь  
 на птичьих правах».

Мне часто говорят о влиянии постмодернизма. То, что кому-то кажется постмодернизмом – это как раз о том, что, мол, свет искривляется, и т. д., и т. д. А у Ньютона он летит по прямой. Образ чуть ли не модернистский. Физически и реально действительно свет искривляется – он движется, а большие массы звезд и галактик влияют на световую волну.

Все «измы» это как у Лермонтова – «скучные песни земли». Там нет Неба. Таких стихов уйма. Можно как угодно относиться к Хлебникову, но ты понимаешь, что в нем есть и содержание, и всё остальное, а те товарищи, которые якобы отгалкиваются от поэтики Хлебникова или футуристов, множат бесконечное количество поэтической пустоты. Это может быть замечательно зарифмовано, спрятано в форму, но за этим нет никакого «энергийного» наполнения. В настоящем стихотворении ты всегда почувствуешь импульс энергии. У постмодернистов такого нет никогда – ищи-свищи, как говорится, в чистом поле.

**– У Вас есть любимые эпохи в поэзии?**

У меня есть любимые поэты из всех эпох. Но в Серебряном веке в сравнении с Золотым уже очень сильно изменился звук. Несмотря на то, что там такие поэты, как Ахматова, или Кузьмин, или Гумилев, или другие «поэты в чистом виде» – всё равно это уже модернистская поэзия. Последний поэт Золотого века – это Блок в лучших своих стихах. Правильно говорил Маяковский: «Я напишу десять стихотворений, из них семь хороших и три плохих. Блок напишет десять стихотворений – из них восемь плохих, а два таких, каких мне никогда не написать».

Тот самый чистый звук, который, возможно, был только в Золотом веке, Блок извлек, несмотря на символизм и т. д. Лучшие его стихи лишены этих «измов». Вообще говоря, русская поэзия, несмотря на все влияния заграничные «измов», осталась в парадигме русского религиозного космизма, где человек стремится разгадать тайну устройства мироздания и смысл своего существования. Взять русский и итальянский футуризм – Маринетти и Хлебников, или Гуро. Западный, абсолютно механистический, напористый стиль. Скорость и машина, и человек, сошедший с ума от упоения скоростью. А если хорошо почитать Елену Гуро, становится понятно, почему ее высоко ценили и Маяковский, и Хлебников. Эти стихи нужно преподавать в школе с младших классов, потому что они о нежном, сокровенном, созерцательном, можно сказать, религиозном отношении к природе и жизни. А люди всё больше и больше делают себя придатком компьютера – искусственный интеллект, например. От Божьего замысла уходят в сторону. Божий замысел о человеке – это о человеке, который должен «обожиться», то есть приобрести качества, близкие к идеалу, к Создателю. Здесь же качества, делающие его придатком механизма, имеющего только ноль и единицу, или «да» и «нет». Я про это тоже писал.

То, что в человеке вымывается человек – одна из главных проблем сегодняшнего дня. Нынешняя эпоха – это гигантский компьютер и люди, встроенные в эту систему. Однако человек не должен никуда встраиваться, человек должен быть человеком по абсолютной величине, и поэзия дает ему такие возможности. Либо религия – но религия и поэзия, в самом чистом виде, есть одно и то же.

Ближе к Создателю человека делает понимание, что он – порождение Создателя, религиозное чувство. Здесь как в межличностных отношениях: пока не позовешь, не окликнешь по имени, не захочешь понравиться – кому ты нужен? Так и Ему. Хотя Он, несмотря на все наши безобразия, по крайней мере, еще оставляет нас жить. Как я прочитал у кого-то: Бог оставил человека. Ужас какой! Да слава богу, что Он его оставил! А может ведь всё что угодно сделать. Это мало кто понимает и осознает.

**– Это можно рассматривать как этап взросления человечества – дети со временем отходят от родителей.**

– Нет-нет, это глубочайшее заблуждение, что человечество проходит этапы развития и взросления. Да ничего оно не проходит! Человек Древней Греции из окружения Платона и Сократа гораздо более человек, чем кто-то из окружения кого-то из олигархов. Где ж это взросление? Что поменялось в человеке? Чем нынешние люди совершеннее людей какого-нибудь пятого века до нашей эры или времен великих поэтов Китая, Японии? Чем человек современный отличается от Гильгамеша, который так же ищет смысл жизни, так же страдает по утраченному другу, так же осознает свою смертность и мучится от того, что почти нашел бессмертие, а оно от него ускользнуло? Те же самые проблемы.

**– Возможно ли вообще для человека выйти на качественно новый уровень?**

– Только через «обожение». В людях столько спрятано Господом, что только очень пристальное вглядывание в человека, а не в созданное человеком, может вывести на совершенно другой уровень. Люди всегда делают из собственного создания кумира – это старый грех человечества, еще времен исхода евреев из Египта, когда они изготавливали Золотого тельца. Примерно то же самое – компьютеризация, искусственный интеллект. Это и есть изготовление кумиров.

Только любящий человек вдруг становится почти равным Богу. Через любовь открывается всё – не через знания, не через какую-то арифметику.

**– Для кого-то и физика – это любовь, люди «горят» этим – любовью к миру, его познанию.**

– Они горят этим, но познание не делает человека богоподобным – оно делает его опасным. Вдруг ты видишь, что какой-нибудь академик, физик – это просто обезьяна с гранатой, которая вертит эту гранату – знание – и может разнести в пух и прах всё вокруг. Не все это понимают. Знание, не ограниченное нравственностью, опасно, и рано или поздно приведет к гибели человечества. Внимательно вглядевшись в то, что происходит, можно это увидеть. Мы живем в страшное время.

**– А какое время не страшное?**

– Да, бывали жуткие времена, например, войны и нашествия, пандемии всякие, но никогда не стоял вопрос проблемы существования человека – так, чтобы – хлоп! – и ничего не осталось.

**– Но ведь любовь победит?**

– А кто его знает? Много злых людей, у которых есть и власть, и деньги. С другой стороны, и иных – много. «Всё еще встречаются люди, которые интересуются поэзией», – как-то сказала бабушка Вислава Шимборска. Была такая бабулька, была мудра, как черепаха Тортилла, и хорошо хранила золотой ключик Поэзии.

Стихи по-прежнему пишутся, люди по-прежнему влюбляются, природа по-прежнему живет – еще не всё потеряно.

**Удивительно, сколько основополагающих тем можно затронуть за один разговор! Здесь и жизнь, и смерть, и тоска, и счастье, и Бог – и всё о вечном, даже когда речь идет о каких-то житейских мелочах. Приятно, что эти потоки мысли в конце концов свелись к одному, главному – «Всё еще встречаются люди, которые интересуются поэзией – еще не всё потеряно». Это дает светлый взгляд в будущее с обоснованной осторожностью в настоящем. В любом случае, всё уже сказано выше, а остальное пусть каждый добавит для себя сам.**